

В. Н. Некрасов

Воспоминания о М. Е. Соковнине

Не публиковалось, в предисловии В. Н. Некрасова к книге Соковнина «Рассыпанный набор» не использовано. Написано, видимо, во второй половине семидесятых годов. Печатается с небольшой купюрой по машинописи с авторской карандашной правкой (из архива автора).

С Мишей Соковниным мы познакомились лет двадцать назад на собрании институтского литобъединения. Был тогда такой Московский городской педагогический институт имени Потёмкина, и оба мы в нем учились — только я на дневном отделении, а Миша на вечернем и на курс меня младше¹. Выступал на литобъединении поэт Виктор Боков. Дело было в обычном, стандартном классном помещении с черной доской и окнами слева, и окна слева тоже были в основном черные. Впрочем, объединение собиралось по вечерам, на улице зима не то осень и за окнами, естественно, было темно. Народу собралось побольше обычного, но не так много — человек двадцать, наверно. Почему так, не помню — может, накладка вышла, может даже, скромности пожелал и сам выступавший. Иные разы (правда, позже) собиралось и по две сотни. Так что, возможно, наше объединение под руководством маститого тогда аспиранта² ещё не успело набрать той силы, а может, даже не

¹ Из набросков к предисловию для «Рассыпанного набора»: «мы познакомились — Миша был на II курсе».

² В. И. Лейбсона. О нем подробнее см., напр.: *Сухотин М.* Конкрет-поэзия и стихи Всеволода Некрасова // Памяти Анны Ивановны Журавлевой. М., 2012. С. 645–646. — *Здесь и далее прим. публикатора.*

добрал ещё той известности и сам Виктор Боков. Всё может быть. Так или иначе, а обстановка сложилась, что называется, спокойная и деловая. С точки зрения выступавшего, возможно, даже и слишком. Дело в том, что всякое нормальное литературное объединение стоит на двух ногах: 1) зачитывается художественное произведение и 2) производится обсуждение зачитанного художественного произведения, и на обе эти ноги наше собрание — довольно дружное, но не очень-то мощное — в ту пору явно прихрамывало. Своими силами с хлеба на квас перебивались довольно долго, как можно основательней перемыли кости всем институтским поэтам и прозаикам, какие только осмелились на выступление (есть даже предание, что зажаждал в те времена к нам на огонек и один прославленный ныне пародист, а тогда студент худграфа³, но сам я его не видел — за что купил, за то продаю), и незаметно основательно сглодали таким образом собственную первую, так сказать, художественную ногу — обсуждать стало нечего. Зато заточили зубы и вошли во вкус. Поневоле рассудили, что лучше уж одна нога — критическая — чем так ни одной — да и факультет наш как-никак назывался историко-филологический — и стали приглашать в гости кого поаппетитней. При этом порядком пообнаглели, особенно я; помню, я всегда считал себя стеснительным, а тут готов был говорить и говорить, пока не остановят (и кажется, иные разы что-то в этом роде бывало, бывало...). Впрочем, руководству нашего объединения в лице маститого аспиранта только того и надо было, и меня аккуратнейшим образом выпускали на всех гостей-писателей, и всё шло, как будто так и полагается. Так же оно было и в тот раз. Видимо, незаметно для себя я уже привык считать себя немножко мэтром и слегка даже опешил, когда получил отпор. Не Боков, нет, а какой-то новый, незнакомый и удлинённый какой-то весь человек в очках стал говорить что-то такое наперек и очень решительно. Мы тут же сцепились и так забрались в дебри общего стиховедения, что маститый и ядовитый аспирант вынужден был напомнить нам и всем собравшимся, что на повестке дня у нас — ныне здравствующий и более того — присутствующий здесь Виктор Федорович Боков... Сам же Виктор Федорович, подводя итоги, высказался,

³ Александр Александрович Иванов закончил факультет рисования и черчения Московского заочного пединститута в 1960 г.

помнится, в том смысле, что хорошо, мол, что ребята всё это знают, только ничего этого знать не надо, а надо писать себе стихи, как лучше, и всё. И был прав, конечно, хоть и с оговорками. Речь же шла у нас скорей всего о пиррихиях.

Прокурор завел со следователем специальный разговор о пиррихиях. Вообще, будучи извлечены из дебрей, мы, помнится, враз друг дружку в чем-то зауважали. И даже почти наверняка могу сказать, в чем именно: мы выяснили, что мы прочли «Символизм». Тут ещё надо помнить, какой это был год. Год был 56, а может, 57, и «Символизм» в читальном зале Ленинки выдали мне за пару лет до того, не раньше, чем я принес бумажку, что зловредный символизм при всем его идеализме все-таки нужен мне, советскому студенту, для моей курсовой работы по стиховедению⁴. Так оно и было с работой (работа получилась — хуже некуда), но бумажку в деканате писали, помню, без радости и с некоторым даже омерзением. (Что тогдашний наш декан товарищ Бондаренко лично читал какие-то символизмы — мысль дикая. Нет, конечно.) <...>

А вообще-то жилось тогда в вузе нам ещё не так плохо, и когда-нибудь стоило бы рассказать поподробнее — как именно.

Фрагменты из многочисленных машинописных набросков предисловия к «Рассыпанному набору» (1994), не вошедшие в опубликованную редакцию:

Жанна д'Арк, рев толпы: «Ведьма!.. Ведьма!.. Она ведьма!.. Кто дал ей крест?! Отобрать крест!.. Помело!.. Она ведьма!.. Дайте ей помело!..». Пауза, и удивлённый рев: «— Ыыыыыы..! Опять пауза и одинокий жалобный голосок: «— Ваше преосвященство! А Жанна д'Арк на помеле улетела...».

Читают Соковнин с Мальковым, голосов примерно десятком. Но это уже начало 60-х, а первобытный «Дымоход» было что-то вроде стенгазеты. И если не путаю, уже в нем появилось слово «Вариус»...

Говорят, звезда кино — это такое обличье, которое тиражируется само. Гуляет себе звезда по улице, и то и дело на себя, звезду, натывается... Значит, обличье нужно, необходимо. Универсальность и неизбежность «Вариуса» доходили до меня долго,

⁴ В личном архиве сохранилась только рукопись работы не «по стиховедению», а о звуковых повторах у Баратынского, почти наверняка курсовая. Научным руководителем Некрасова был М. В. Панов.

постепенно и основательно. «Вариус» и писался, складывался, сказывался тоже, по-моему, как-то постепенно и малозаметно, при том что определился изначально (само слово к моменту нашего знакомства уже было, насколько помню) и был как бы задан, предопределен извечно. Сперва, по-моему, наметилась, осозналась какая-то легенда и интонация, а потом не спеша, сама собой стала воплощаться в словах и фразах. Он писался постольку, поскольку сказывался, не быстрее, сказывался как-то сам, по-моему. И не знаю, успела ли испытать это ощущение сама «звезда», сам Соковнин, но для меня «Вариус» понемногу стал действительно «книгой жизни» — отовсюду слышится, везде прорезается. И характером фразы, и вариусным раскладом обстоятельств. Он не написан был, а бывал отмечаем, извлекаем по мере хода времени из жизни и речи — и теперь уже навряд куда денется: он есть на самом деле. Писали-то сперва двое, а ещё раньше и вовсе, как я понимаю, четверо. А потом один за двоих, четверых, за всех, наконец. Помните, у Ильфа с Петровым: «Вдвоем писать было не вдвое легче, как можно подумать, а вдесятеро трудней» — потому что второй контролирует, и не как-нибудь, а с пристрастием. Когда один писатель — другой читатель. Такой придира-читатель необходим, но редкий писатель вырастает в читателя сразу, да и вообще мало кто по-настоящему дорастает до того, чтоб по-настоящему быть читателем самому себе — как Мандельштам. А вот Евгению Петровичу Бачею или Александру Михайловичу Жемчужникову здорово повезло: у них такой читатель был с самого начала. «Пока Жюль бегаёт по редакциям, Эдмон стережет рукопись, чтобы не украли знакомые», — в смысле пока Евгений пишет, Илья соображает. Напишет Александр, Алексей прочтет. Потом они могут поменяться. Хотя Вариус больше, думаю, похож на Пруткова, чем на Ильфа с Петровым — и стилизованностью, особой манерой, архаичностью. И универсальностью, энциклопедической разножанровостью. И особым чувством текста как длящегося действия, ситуации, как твоего общего с читателем положения, общения с ним. Того самого начала, которое стали называть концептуализмом — только Соковнин вряд ли и услышал этот термин.

Нам с Мишей часто нравилось не одно и то же. Мне Рабин, ему — Кропивницкий дед и Валя Кропивницкая. Они и мне нравились тоже. Тоже, но не так же... Мне — Маяковский, а ему ни под каким видом. Блок, только Блок. Ладно бы Блок — у него

вообще упорным, программным был пиетет перед Серебряным веком, стихослагательством, которого я рано стал опасаться — при всем к нему тогдашнем почтении. Всё это прямо выходило в практику, и, по-моему, долго и здорово Мише мешало.

Интересно, что со своим слухом-ухом на речь он и сам не мог не чувствовать, что стихи не выходят, что-то мешает. И не «что-то», а, в общем-то, одно и то же: сильно художественное намерение. Но упорствовал в эстетической установке, тем более, что было же в этих его стихах и много чего интересного, но... Но вот не так. Пожив какое-то время на виду, стихи отходили в тень. Создавались другие — и тоже интересные, и опять что-то мешало... Но чем дальше, тем больше из стихов прорезался «Вариус». Сперва миниатюрами («жила-была же-а-бе-а»). Потом фрагментами, фрагменты стали отторгать «поэтичное», очищаться от вторичного, срастаться между собой — и получился первый предметник «Болдино» (год, помнится, 67).

* * *

Миша выходил на Михаила Соковнина, становился Соковниным при мне, выходил на себя и таким путём доходил до меня. Поэтому, думаю, я сам по-настоящему стал понимать, насколько он мне важен и нужен, с порядочной задержкой. Лет, может, на десяток. Осознавать, по крайней мере. И помогли мне в этом друзья, Олег с Эриком.

К тому же сама манера казалась сперва несколько причудливой, нарочитой. Самому хотелось чего-то попрямей, поострей, непосредственней. Насколько манера была органичной и даже просто необходимой самому Мише, тоже доходило постепенно.

И вкусы разнились, иногда сильно. Взгляды иной раз тоже. Не так, наверно, взгляды, как отношение к собственным взглядам — мне всё чудилось некоторое легкомыслие, что ли, в Мишином отношении к собственному его, Миши, мнению. Думаю, ему просто всё и вся было Вариус, сплошной Вариус (по крайней мере, хотелось, чтобы так было) — в том числе Вариус и идеологический. Такой Вариус, где сам он был бы не автор, а герой. А меня это как-то все-таки пугало. Миша был, конечно, очень артистичный, хоть и по-своему. Из актёрской семьи, из Бахрушинского музея. А я все-таки не очень.

Так что общего между нами было вроде бы и не так много. Зато существенного, самого для нас существенного. Хотелось вылупиться. Очень хотелось, необходимо было — и тут и он и я друг дружку хорошо понимали. И старались помогать один другому, потому что каждый очень близко, почти как своё (при всех упомянутых выше различиях) видел то, что другой делает и как он это сделал — получилось или не очень. И каждый был другому нужен, необходим даже. Наверно.

Но это касалось в основном стихов. Тут я, можно сказать, крутился целый день на кухне и лазил во все Мишины кастрюльки. Особенно памятны бесконечные перемонтировки «предметников» — действительно, неуклонно улучшавшие текст. Я ведь занимался тем же самым: первый раз употребил ножницы (буквально, насколько помню) в 61 («Кто есть что»), а потом лет десять, больше, ладил длиннющий свертхтекст, «ритмический словарь» — в конце концов разошедшийся по эпизодам. Ладил так и эдак, и Миша тоже как-то участвовал. Во всяком случае, был в курсе.

Это всё так, но вот «Вариус» я помню уже как вполне готовое изделие, понемногу прибавлявшее в объёме. Это был уже сложившийся Соковнин, коренной-матерый. Который был всегда, ещё в школе — а школа ведь и есть то, что было всегда, даром что в школе мы знакомы не были и быть не могли. Школьная компания — и этим всё сказано. Все хорошие люди, хоть я их знал мало: Костя Доррендорф, Алексей Малашенко и, конечно, соавтор «Вариуса» Александр Мальков. Но до «Вариуса» был ещё «Дымоход», где, как я понимаю, соавторами были практически все перечисленные — на этапе, когда ещё и не поймешь — где, кто автор-соавтор, а кто читатель. Котел общий и этап, наверно, самый ценный. Во всяком случае, для «Вариуса», который тогда ещё был «Дымоход». А может, и для Козьмы Пруткова... Не то школьный рукописный журнал, не то домашний. Помогал, как я понимаю, огромный комод — самый первый, старинный советский магнитофон «Днепр». Машина серьезная, с огромными бобинами, а катушками, где боковины держат пленку, почему-то пользоваться не полагалось. Эта причуда дорого обошлась «Дымоходфонфильму», от которого, к сожалению, ничего не осталось. А был «Гамлет» Соковнина и Малькова. Были, например, миниатюры.